

© 2003 г. М.И. ЧЕРНЫШЕВА

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ТРУБАЧЕВ И НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Предлагаемые воспоминания носят очень личный характер, в них не столько затрагивается научная проблематика, сколько воссоздается образ Трубачева-человека, каким видели мы его, начиная с того момента, когда нам было едва за 20 лет, а ему едва за 50, а потому здесь преобладает субъективное переживание (заново!) того времени, когда все мы были рядом, и тех чувств, что тревожили нас тогда, да и сейчас еще не оставили.

В Институт русского языка Академии наук я пришла в 1977 году, в ту пору Трубачев поистине находился в зените своей славы. Стремительно проносился он по коридору Института в свой кабинет всегда в каком-то внутреннем сиянии мысли. Для меня – с самой первой минуты знакомства – Олег Николаевич был не просто человеком, а существом другого порядка. Так это осталось навсегда, и ни сравнительно близкое знакомство, ни трудные обстоятельства, в которых я заставляла этого человека, ни сложность его поведения и подчас неожиданное непонимание по отношению к разным людям, приводившее порой к обидам, не изменили моего мнения.

Много позже сложились наши деловые и, иногда даже казалось, почти дружеские отношения, что объяснялось стечением обстоятельств: кабинеты наших словарей – "Этимологического словаря славянских языков", который он создал и которым руководил, и нашего, "Словаря русского языка XI-XVII вв.", где мы работали под руководством его жены, Галины Александровны Богатовой, почти всегда были совсем рядом. Между супругами существовало что-то похожее на шутовское соперничество, продолжавшееся из года в год: какой из словарей нынче обгонит другой.

* * *

На самом деле первое знакомство с О.Н. было заочным. Однажды на кафедру классической филологии МГУ из Института русского языка позвонила Галина Александровна Богатова: в "Словарь русского языка XI-XVII вв." нужен был специалист со знанием древнегреческого языка (речь, конечно же, шла о медиевисте). Для знакомства Г.А. пригласила к себе домой (они жили тогда с О.Н. недалеко от "Юго-Западной"), ввела в комнату, где было два письменных стола, и со скрытой гордостью указала на один из них: "Это стол Олега Николаевича Трубачева". Меня поразил абсолютный порядок: стол был почти пуст, запомнились только маленькие часы-будильник. Эти часы – знак времени, быстрого, неостановимого, – так и застыли в моем сознании рядом с ним. Мысль: "Я не могу терять время", – всегда чувствовалась в нем. Многое и многое в его поведении подвижно и объяснялось ею.

Когда я говорю "наше поколение", то имею в виду ту молодежь, русистов, историков языка, появившихся в Институте русского языка РАН (тогда Академии наук СССР) в конце 70-х и начале 80-х годов (один из нас, А.М. Молдован, ныне возглавляет наш Институт). Это время пришлось на золотой период в русской этимологической науке, на самое, может быть, продуктивное, самое благоприятное (в смысле оценки научной общественностью) и яркое время творчества О.Н. Он был звездой

первой величины. Тогда, на наших глазах, рождалась "Индоарика" в серии публикаций с подзаголовком "Индоарийцы в Северном Причерноморье", и это параллельно с ежегодно появляющимися томами "Этимологического словаря славянских языков", который он писал и редактировал, параллельно с подготовкой ежегодника "Этимология", фейерверком статей и рецензий, участием в Ученых советах и редколлегиях, в том числе, нашего Словаря – всего не перечислить. Мы следили за его работами, читали, обсуждали, спорили... Увлечение этимологией приводило к тому, что даже любовные письма в нашей среде в ту пору содержали этимологические этюды. Сказывалось сияние плеяды звезд: Топоров, Трубачев, Иванов (так, почти рифмуя, повторяли эти имена). В докладе к XII краковскому Международному съезду славистов он скажет об этом времени: "50-е – 80-е годы – это эпоха фронтальной публикации этимологических словарей всех славянских языков" (М., 1998. С. 10). Можно сформулировать и иначе, шире: эпоха славянской этимологии.

Часто Галина Александровна приносила его свеженаписанные статьи (еще чуть влажные страницы, будто чернила не просохли), и мы, держа в руках пока не перепечатанную рукопись, восхищались не только новизной и свежестью мысли, но и самой рукописью, которая была шедевром и по внешнему облику: писал он красивым каллиграфическим почерком – сразу набело, практически без правки (порой во всей статье можно было найти только одно зачеркнутое слово).

Наша молодость была освещена им, его близостью, его гением. Мы во многом, часто не сознавая этого, находились под воздействием мощи этой личности, вплоть до того, что порой, если осознание силы его магнетизма все же приходило, активно противились – вдруг казалось, что так можно рядом с ним и себя потерять...

Прежде, в те годы, о которых речь, я не была знакома с Олегом Трубачевым-младшим, сыном Олега Николаевича (видела его раз в Политехническом музее на лекции отца, поразило сходство – такая же круглая, особой формы, голова, погруженность во внутреннюю мысль – и при этом – столь же яркое несходство). А совсем недавно, уже за поминальным столом, оказавшись рядом с Олегом-младшим, облик которого в окружении скорбных лиц порастил меня таким же, как у отца, спокойствием внутренней силы, услышала: "Отец оказал на меня **огромное** влияние. Мы много были вместе". Зная семейные обстоятельства, я удивилась: "Мне казалось, вы не так часто встречались?... " – "Нам не нужно было даже встречаться и говорить друг с другом – между нами давно установилась очень тесная и сильная связь. Я физик. Я понимаю это".

То самое спокойствие внутренней силы и ясный (с глубоко припрятанной и не всем явленной искоркой веселья) взор где-то там же, рядом, в сиянии нашей и, можно сказать, его молодости.

Это позже взгляд его изменится, в нем будет печаль, пожалуй, оттого, что слишком многое открылось и теперь уже понятно ("И ты, и я – мы все имели честь/ "Мир посетить в минуты роковые"/ И стать грустней и зорче, чем мы есть. "). Не зря выбран им к одной из последних статей "говорящий" эпитафиз из процитированного стихотворения М. Волошина "Дом Поэта" (через две строчки):

*Я сам избрал пустынный сей затвор
Землею добровольного изгнания,
Чтоб в годы лжи, падений и разрух
В уединенье выплавить свой дух
И выстрадать великое познание...*

Его последние годы жизни многим видятся подлинным отшельничеством (жил он преимущественно не столько в своей московской квартире, сколько в Шереметьеве в окружении любимых животных, все реже появляясь в Институте). Он стал как будто нарочито самодостаточным человеком, но строки Волошина многое объясняют:

*В уединенье выплавить свой дух
И выстрадать великое познание...*

Его вела все та же мысль ("нельзя терять время") и страстное желание успеть. Теперь уже под "успеть" подразумевался главным образом его Словарь и доведение до логического конца многолетне-вынашиваемых идей об этногенезе славян. Все остальное вокруг ему уже мешало. (Почти за десять лет до ухода в одной своей работе он обронил: "Просто человеческое общение превратилось в роскошь".)

В прежние годы к нему шли за советом многие, в том числе и мы, тогдашняя молодежь, несли ему свои рукописи, и он все брал, читал, снимая сверху из кипы, высящейся на его столе, очередную работу¹. Ему долго казалось, что хватит сил выдерживать, как он позже писал, "растущий поток информации, растущую сложность современной науки и современной жизни с ее стрессами, дистрессами и самообслуживанием" ("Беседы о методологии научного труда". С. 12). Со временем он от этого устал, устал от научной и околонучной суеты. Устал бороться и защищаться. Себя – борца в науке – он назвал "нонконформистом". И пояснял: "Все это [речь идет об ожесточенном оппонировании его идеям. – М. Ч.] – со всеми вытекающими последствиями, ведь инакомыслящих у нас по-прежнему не любят, я испытал ... на себе вполне. Слова "никто так не думает, он один так думает" я слышал в свой адрес, по крайней мере, по двум поводам. Один из них – по поводу теории индоарийской принадлежности части древнего населения Северного Причерноморья. А другой раз – в связи с моим опытом пересмотра проблемы прародинны славян, когда я на основе изоглоссных данных выступил против теории прародинны к северу от Карпат, принимаемой большинством, в защиту старых воззрений о давних местах обитания славян на Среднем Дунае" ("Предыстория одной книги". М., 2001. С. 253).

Постепенно он начал уходить от людей. Этот уход, сначала почти незаметный, завершился мгновенно и уже бесповоротно после смерти матери, Елены Васильевны. Все, знавшие ее, сходятся в одном: это была неординарная личность. О.Н. как-то по-своему, очень благоговейно относился к родителям, не случайно его первая книга "История славянских терминов родства..." (М., 1959) – точка отсчета на жизненном пути – посвящена им, но значимость матери для О.Н. с ее уходом стала особенно заметна. О.Н. был всегда чудесно молод – как радовались мы этому! И вдруг – в одночасье, сразу вслед за матерью, сильно сдал. Как-то быстро он устал от людей и уж слишком поспешил за ней... (Мало кто знал тогда о развивающейся у него болезни крови)².

Кому-то казалось, что он ушел в себя. Так все виделось. Так на поверхности. Но на самом деле – там, в глубине, шла мощная работа мысли – до последнего дня. На больничной койке, за несколько недель до кончины он написал статью для журнала "Вопросы языкознания", одновременно это был и доклад к предстоящему XIII съезду славистов. Отшельничество и одиночество не были молчанием – то был постоянный монолог, разговор-размышление с самим собой и потенциальным читателем-слушателем. Это становилось очевидным, или когда удавалось его разговорить, или когда – редчайшие случаи в последние годы – он выступал с лекциями.

Его блестящие лекции, представлявшие собой медленное – вслух – разворачивание давних мыслей, прежде в Политехническом музее и в нашем Институте собира-

¹ О себе могу сказать, что, без сомнения, под его влиянием началось мое увлечение ранними трудами М. Фасмера, его "Греко-славянскими этюдами", что привело к появлению работы: «Греческие слова, способы их адаптации и функционирование в славянском переводе "Хроники" Иоанна Малалы» (М., 1994).

² Мы не говорим сейчас о роли его жены, Галины Александровны Богатовой, которой всегда (по разным причинам) было очень нелегко – настанет день, она сама об этом напишет. Со стороны можно было только заметить, что ей приходилось разрываться даже не между двумя (в Теплом стане и Шереметьеве), а тремя домами (третий – Волхонка, наш Институт). Ей так часто приходилось ездить туда и обратно, что она приговаривала: "Я почти живу в электричке".

ли полные залы. В годы своей зрелости (и нашей молодости) он охотно выступал. Помню его настойчивое стремление донести до академической аудитории сообщение, подкрепляемое интереснейшими примерами, об относительности деления на синхронию и диахронию в языкознании – в своем последнем докладе на XII съезде славистов он его, несколько расширив, повторит: "В практическом повседневном весе́ме нередки ситуации, когда "узкий" специалист, скажем, по словообразованию, нуждается в напоминании, что он лингвист, то есть для многих специалистов по небольшому кругу тем даже единство языкознания – довольно абстрактная истина" (С. 11) и сошлется на свою статью с ярким названием "Синхрония, диахрония – und kein Ende...". Столь же настойчиво повторялась мысль о наддиалекте как единственной коммуникативной форме, которую способно выработать общение диалектов между собой (положение, приложимое к разным областям славистики, в том числе, по его представлению, к истории возникновения первого литературного языка славян), и идея "гибкого" понимания праславянского и древнерусского единства как заведомо "сложных" – всего не перечислить... Спектр проблематики, которой он касался в 80-е и развивал в 90-е годы, давно имеет своих поклонников и оппонентов и еще долго будет находить достойных интерпретаторов (в зависимости от интересов последних: будь то проблема балто-славянских отношений или споры вокруг древненовгородского диалекта и т.д.). Укажу лишь на еще одну его мысль, показавшуюся мне (в связи с моими научными интересами) достойной самого серьезного внимания. На примере анализа слов (и представлений, заключенных в них), типа **duša*, **grěxъ*, **světo*, он продемонстрировал не только праславянскую принадлежность и индоевропейскую древность этой и другой "высокой (культурной) лексики", отвергая неверие в существование "самой этой высокой, культурной страты дописменного языка славян (их культурного наддиалекта, интердиалекта...)", но более того, на основании этого он утверждал, что "христианство гибко переняло <культурную религиозную терминологию праиндоевропейской древности> у славянского язычества"³.

Со временем занятие это (публично выступать) он уже не любил и всячески его избегал; все же произнесенные с трибуны мысли удивительным образом освежали его, эмоционально сильно подстегивали, давали ему неожиданный новый импульс, и потому Галина Александровна всячески побуждала его к выступлениям.

Однако вот уже поменялись увлечения слушателей, и залы пустели. Это не могло не печалить, притом, что доклады его не уступали прежним по значимости и глубине мысли. Разительным контрастом тому, что видели и слышали мы в 80-е годы, явилась его лекция там же, в полупустом Политехническом музее, 20 января 1998 года, когда, начав почти нехотя, О.Н. проговорил в два – два с половиной раза больше времени, ему отведенного, и сам был после так поражен собственным увлечением, что на следующий день в возбужденном состоянии подошел с извинениями "за болтливость" и в благодарность "за терпение" преподнес с дарственной надписью второе издание "В поисках единства" (М., 1997).

Много говорилось о том, что Трубачев не любил возиться с учениками. Наоборот, он был учителем по преимуществу: у него многое написано пером учителя, тоном мягкого, ненавязчивого, порой обращенного к самому себе, поучения, поднимающегося иногда до интонаций пророка. Думаю, со мной согласится всякий, кто с ним хоть однажды говорил или его слышал – его письменная и устная речь удивительно совпадали. Один мой знакомый пришел к нему и сказал: "Я хочу быть Вашим учеником", повторил еще и еще. О.Н. улыбался и молчал. Это вызвало недоумение, по-видимому, ожидалось что-то вроде передачи "тайн ремесла" – Трубачев

³ Мысль эта неоднократно в том или ином виде высказывалась и последний раз весомо повторена в докладе к XII Международному съезду славистов (С. 9).

молчал. Все "тайны ремесла" – в его работах, ничего, из того, что он накопил, не скрыто, в его архиве почти не осталось неопубликованных работ.

Впрочем, есть у него и отдельная общеметодологическая работа о научном труде, написанная специально "для молодежи", "Беседы о методологии научного труда" (с подзаголовком "Трактат о хорошей работе" – журнал "Русская словесность" за 1993 год, № 1). В ней останавливают внимание несколько мыслей, помимо тех, к которым всякий, занимающийся наукой, неизбежно приходит сам. Среди них – положение о плодотворности "переживания успеха, которое так нужно исследователю и вкус к которому необходимо развивать у себя"; сформулированное явно с юмором соображение о том, что есть скромность в науке: "Зачинать надо в тиши", – с обычным для него этимологическим пояснением: "Недаром самая удачная этимология слова *затеять*, пожалуй, сближение с *таить*, *тайна*" (речь идет о молодых людях, затевающих "звонкую работу", которую они не способны закончить); совершенно замечательная идея "духовной невинности": "Свое место в науке, свое лицо, гордость и самостоятельность дерзаний – об этих вещах надо не забывать с самого начала. Пусть в нашем багаже, кроме унаследованного и усвоенного богатства, всегда будет и свое, до чего дошли сами... Образно говоря, эвристические потенции нашего ума могут быть довольно высоки именно на стадии духовной невинности"; в этой статье выражена его убежденность, что ученик должен максимально предоставляться самому себе и что "опытные преподаватели советуют давать <ученикам> задачи, которые кажутся неразрешимыми"; здесь же сформулировано производящее впечатление очень личного высказывание об эпигонах и эпигонстве: "...Эпигонство досадно еще и потому, что содействует обеднению фактического богатства, унаследованного от учителя-инициатора, очень часто безвинно при этом страдающего". Последнее прозвучало в связи с обсуждением "огромных по важности вопросов морали в науке", первым среди которых автор называет отношение учителя и ученика. "Этика у нас находится в... запущенном состоянии", – вскользь бросает он и приводит ставшее уже знаменитым высказывание В.И. Абаева: "Если бы меня сейчас спросили, какая наука важнее всего в наше время? Языкознание? – Я ответил бы: нет. Физика? – Нет, не физика. Сейчас для нас важнее всего этика". Будучи сам образцом нравственности и честности, больше он, насколько мне известно, к вопросам этики (по крайней мере, письменно) не возвращался.

Продолжение этой работы – статья "Образованный ученый" (с уточнением в тексте: "образованный мыслящий лингвист", с. 10), посвященная обзору и оценке современных лингвистических теорий и методов, обращена уже к сформировавшемуся специалисту – начинающему такого не говорят: "Сущность языка, по-видимому, асимметрична, и в этом причина его постоянных изменений" ("Русская словесность". 1993. № 2. С. 7).

Итак, об учениках. Их, на самом деле, не так мало. Многие признавали себя его учениками. Даже такой серьезный ученый, как Л.А. Гиндин, не единожды повторял, что несмотря на небольшую разницу в возрасте между ним и О.Н. Трубачевым, он считает О.Н. своим учителем. Но почему-то принято говорить об учениках, когда возрастной барьер между учителем и учеником приблизительно такой, как между отцом и сыном. У О.Н. было несколько аспирантов, но среди его учеников обычно называют (и сам он всегда называл) двоих: Сашу (Александра Евгеньевича) Аникина и Сашу (Александра Константиновича) Шапошникова. Первый принадлежит непосредственно к нашему поколению, и все, о чем здесь рассказано, переживал вместе с нами, – второй пришел позже. Оба узнали об О.Н. по его публикациям, оба появились издалека. Саша Аникин – из Новосибирска, Саша Шапошников – с Кубани. Знакомство началось с писем.

С. Аникин написал О.Н. письмо, не только полное восхищения его работами, но содержащее уже собственные соображения молодого ученого. О.Н. был тронут, ответил ему. На этом все бы и закончилось, и дело ограничилось бы, скорее всего, перепиской, если бы не вмешательство Г.А., убедившей О.Н., что такой знающий,

устремленный к этимологии человек должен стать его аспирантом. Так состоялась их встреча, а затем родилась кандидатская диссертация, переросшая позже в книгу "Опыт семантического анализа праславянской омонимии на индоевропейском фоне" (Новосибирск, 1988). Александр Евгеньевич Аникин – ныне крупный ученый, этимолог, автор ряда серьезных работ, посвященных заимствованиям в русских говорах Сибири (Тунгусо-маньчжурские заимствования в русских говорах Сибири. Новосибирск, 1990; Этимологический словарь русских говоров Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. 1-е изд. Новосибирск, 1997; 2-е изд. Москва-Новосибирск, 2000), создатель нового балто-славянского словаря (Этимология и балто-славянское лексическое сравнение в праславянской лексикографии. Материалы для балто-славянского словаря. Вып. 1 А–Г. Новосибирск, 1998), – остался таким же застенчивым и скромным человеком. Живет он по-прежнему в Новосибирске, работает в Сибирском отделении РАН. В годы ученичества у О.Н. он не только был страстно влюблен в этимологию (в те годы это было нашей общей страстью), столь же увлеченно изучал он поэзию Анненского, Ахматовой, Мандельштама... Несколько небольших книжечек, написанных сразу после кандидатской диссертации, посвящены этому. Этимология и поэзия находились у него тогда в сложном переплетении и взаимодействии, неожиданно и оригинально дополняя и обогащая друг друга. Выбор его колебался между путем этимолога и стезей литературоведа... Но этимология, как видно по его последним книгам, не просто перевесила, а стала единственным и главным делом его жизни. Их отношения с О.Н., похоже, сложились не совсем так, как того хотел Саша, ожидавший большей душевной близости с учителем. О.Н. при всем внимании, высокой оценке и гордости своим учеником все же близко его к себе не подпустил.

Гораздо счастливее в этом смысле оказался другой ученик Олега Николаевича – Саша Шапошников. Начало знакомства – похожее. Еще будучи студентом Кубанского университета (в Краснодаре) он тоже написал О.Н. восторженное письмо (по-древнегречески), которое начиналось обращением: ὦ Διδάσκαλε (О, Учитель)! По случайному совпадению оба (учитель и ученик) – с юга России, оба исходили Крым вдоль и поперек, изучая древности, оба испытывали острый интерес к топонимике этих мест, скрывающей многовековые напластования прихода-ухода разных народов – кто только не топтал эту землю! Через несколько лет после упомянутого письма они встретились, и оказалось, что их связывают не только общие научные интересы, но и какая-то трудно объяснимая внутренняя близость, поддерживаемая в чем-то сходной психологической организацией этих людей. Оба были наделены острым чувством моря, горных и степных просторов, оба по-южному понимали фрукты, виноград и вино. Эти чувства иные, негородские. Оба стремились прочь из большого города, почитая и почти обожествляя свой дом, свой сад, выращенные в нем плоды, своих домашних животных... Когда позже, уже после окончания аспирантуры в академическом Институте языкознания, защитив кандидатскую диссертацию "Опыт реконструкции реликтового языка (по материалам Хазарского каганата)", Саша Шапошников, отказавшись от заманчивых предложений остаться в Москве, поселился на родине своих предков-болгар в Коктебеле, обзавелся там собственным домом и стал вести жизнь отшельника, многим это показалось странным, но не Олегу Николаевичу, который не только любил повторять, что у каждого свой путь, но в данном случае принял дорогу, выбранную его учеником, с каким-то особенным удовольствием. Наблюдая за их общением, приходило на ум, что они понимают друг друга почти без слов. Совершенно естественно поэтому, что при подготовке к изданию книги "Indoarica в Северном Причерноморье"⁴ О.Н. пригласил его принять участие в составлении самостоятельного раздела – "Этимологического словаря языковых реликтов Indoarica". Так родилась их совместная работа, о которой позже О.Н.

⁴ Книга долго пролежала в готовом виде и была опубликована только в 1999 году.

очень тепло отозвался в статье "История одной книги" (Вестник Российской академии наук. Т. 71. № 3. 2001. С. 254).

А.К. Шапошников, живя в Коктебеле, много писал, опубликовал с комментариями Жития Иоанна Готского и Стефана Сурожского, этимологическое исследование об исторических названиях окрестностей Коктебеля "Старый добрый болгарский Коктебель" (Симферополь, 1999). С переездом в Харьков наступил новый этап в его жизни: он начал активно сотрудничать в издательстве "Эксмо-Пресс", где готовит к печати книги, посвященные разным культурным аспектам античности и древнего мира: переводит, комментирует, пишет вступительные статьи (за два года их вышло около десятка). Неожиданно удивительным образом оказались востребованы его прекрасное знание античности и любовь к этимологии. Таким поворотом в жизни своего ученика О.Н., кажется, был очень доволен. Новостью, с которой О.Н. уже не суждено было познакомиться, было предложение того же издательства подготовить в короткий срок однотомный этимологический словарь русского языка, над которым А.К. Шапошников сейчас и работает.

* * *

Чтобы как-то оценить феномен Трубачева и людей того же масштаба, в качестве далекой аналогии приходит на ум античная оценка личности (и феномена) Пифагора: "Есть боги, есть люди, а есть Пифагор"...

В последние недели жизни Олега Николаевича, в больнице, рядом с ним была книга о Пифагоре, составленная его крымским учеником А. Шапошниковым⁵.

Второй книгой, что сопровождала его в эти дни жизни (но, наверное, первой по значимости для него), совсем не случайно оказался труд В.Н. Топорова о святости. А значит, и все мысли были – о том.

⁵ Пифагор. Золотой канон. Фигуры эзотерики. М., 2001.